

# Фронт трескается

8 апреле 1919-го скорая победа над белыми казалась делом решенным. В Одессе и Херсоне добровольцы заодно с интервентами были биты, Дыбенко ломился в Крым, где готовился провозгласить Крымскую советскую социалистическую республику. Южному фронту и Махно был дан приказ наступать на Дон, при этом силы Южфронта должны были первым делом отбить Донбасс с его углем, а Махно – наступлением на Таганрог «подрезать» белых снизу. Выступая 1 апреля на пленуме Московского совета, Троцкий заверил аудиторию, что, «как только состояние рек и мостов позволит, – это дело ближайших же недель, а может быть, и дней, – Южный фронт станет свидетелем дальнейших решительных событий», которые представлялись ему в свете безусловного успеха (1, т. 4, 49–50).

Победа казалась не только возможной, но и неизбежной при том перевесе сил, который сложился в районе Донбасса – 40 тысяч красных штыков и 4,5 тысячи сабель против, соответственно, 12,5 тысячи штыков и 9 тысяч сабель у белых. Нужно было обладать холодной прозорливостью Ленина, чтобы не потерять от успехов чувства реальности и, более того, предчувствовать возможный крах крымской затеи, которая отвлекала много войск, но стратегически имела мало смысла. Ибо, как бы (по карте) ни казалось заманчивым выйти через Крым прямо в тыл деникинцам и прорваться на Кубань, сделать это реально нельзя было из-за господства на море флота союзников.

Ленин упрямо твердил о первоочередной задаче – взять Ростов. В этом направлении двигались Махно и соседняя с ним 13-я армия Южфронта – увы, не подпертые никакими резервами. Эта слабость и сама по себе могла бы оказаться губительной, но в довершение ко всему она была усугублена ошибкой и тактического, и политического свойства: в конце марта главком Вацетис решил, исходя из общности задач, стоящих перед Махно и 13-й армией, передать Махно в подчинение Южному фронту – которым командовал тогда В. М. Гиттис – и таким образом оторвать его от Антонова-Овсеевского. Командование Южфронта украинских партизан не знало, они оставались для него элементом совершенно чуждым; таганрогское направление, где оперировал Махно, было для штаба фронта, располагавшегося в Купянске, глубочайшей и совершенно неведомой фронтовой периферией, и ничего, кроме вреда, от такого переподчинения, естественно, получиться не могло. Командовавший Украинским фронтом Антонов-Овсеевский это чувствовал и предупреждал ставку: «За дисциплинированность и боеспособность частей, отдаваемых мною Южфронту, не могу отвечать. Всякое отрывание их от нашего командования их будет разлагать» (1, т. 3, 215). Тем не менее части Махно были переподчинены.

До какой степени все это запутало боевую ситуацию, понять может, наверное, только военный человек. Будучи в подчинении Южфронта, Махно в то же время был подчиненным Дыбенко, который командовал Заднепровской дивизией, входящей во Вторую украинскую армию Скачко – то есть армию, находящуюся в ведении Украинского фронта. До середины апреля сведения о положении на фронтах Махно получал только из сводок Украинского

фронта. «Свой» фронт нужной ему информации дать не мог. Снабжение не было организовано. Личные контакты – и те не были налажены новым начальством. И когда потребовалось «обревизовать» бригаду Махно, поехал к нему не комюжфронтом В. М. Гиттис, а командукр В. А. Антонов-Овсеенко... Список этих несуразностей чрезвычайно длинен и заканчивается вполне логично – предложением члена Реввоенсовета Южного фронта Сокольниково просто-напросто «убрать» Махно в связи с рядом испытанных им поражений.

Всю эту скучноватую военную информацию нам необходимо знать, чтобы ясно понять ситуацию, которую наши историки безбожно перевирали, чтобы никто не мог ни проверить, ни понять, что Махно в 1919 году красным не изменял, фронта не открывал и предателем не был, что предателем его сделали, именно сделали при помощи всех мощностей партийной пропаганды совершенно конкретные люди из числа большевиков, которым надо было отчитаться – почему проиграна война там, где, по их же словам, она должна была быть выиграна?

Дело складывалось следующим образом: в конце марта заняв Мариуполь, Махно стал нажимать на Таганрог, перерезал линию железной дороги и провалил начавшееся было наступление белых на Луганск. Он просил резервов для развития успеха, но поддержать «изнемогавшую бригаду» (выражение Антонова-Овсеенко) было нечем, войск не было в принципе – за что и спросилось потом с главкома Вацетиса, который считал Украинский фронт второстепенным и упрямо направлял все части другим фронтам. Дыбенко, который прежде мог помочь, теперь глубоко залез в Крым и сам требовал подкреплений.

8 апреля прилетела первая ласточка: генерал Шкуро ударил на стыке Махно и 13-й армии и, обратив в бегство части последней, опрокинул фронт. Скачко сообщал Антонову-Овсеенко по прямому проводу: «Волноваха взята противником, Мариуполь отрезан. Прорыв расширяется, у противника появилась уже пехота. Вся серьезность положения в том, что части 9-й дивизии бегут, и полки самовольно снялись с позиций у Волновахи и, угрожая комендантам станции оружием, приказали себя везти через Пологи в Гришино» (1, т. 4, 53). Тут, пожалуй, для нас важнее всего определенность донесения, что панически бежали красноармейцы, а не махновцы.

Антонов-Овсеенко подбадривал Скачко: «...силы Шкуро преувеличены вдвое». Скачко бесстрастно возражал: «Пять тысяч великолепной и дисциплинированной кавалерии из кубанцев и горцев, не поддающиеся политическому разложению. При летней погоде и в нашей степи одна пехота даже в четверном количестве справиться с такой кавалерией не может. Это аксиома начальной тактики» (1, т. 4, 55).

Антонов-Овсеенко против этого аргументов не имел, а посему запретил Скачко оправдываться и «упражняться в неврастеническом тоне» и велел, за неимением резервов, организовывать отряды из крестьян и рабочих, бежавших из Донбасса. 16 апреля Антонов получил телеграмму Ленина и Троцкого с категорическим требованием оказать всемерную и немедленную поддержку Донбассу и Южфронту вообще, так как вспыхнувшее в тылу Южфронта восстание донских станиц Вешенской и Казанской грозило развалить фронт и в дальнейшем принести еще более крупные неприятности.

Главком Вацетис в том же ключе требовал форсировать наступление Махно на Таганрог, не зная (или не желая знать), что Махно отступает и поддержать его нечем.

Получив приказ главкома, Махно отстучал Дыбенко отчаянную телеграмму, требуя «немедленной посылки каких бы то ни было вооруженных сил». Скачко меланхолически констатировал: «Махно почти не существует» (1, т. 4, 60). Весьма энергично воздействовал Владимир Ильич: «Перебросить украинские войска для взятия Таганрога обязательно тотчас и во что бы то ни стало» (1, т. 4, 59). Ленину все кажется, что распорядился – и точка. И Зимний взят.

19 апреля Скачко сообщил Антонову-Овсеенко, что на Мариупольском направлении началось общее отступление махновской бригады. Он полон самых мрачных предчувствий: «Противопоставить движению противника нечего, 3-я бригада Махно, находясь непрерывно более трех месяцев в боях, получая только жалкие крохи обмундирования и имея в придачу таких ненадежных соседей, как 9-я дивизия, совершенно истощилась» (1, т. 4, 57). Антонов-Овсеенко, в свою очередь, передавал вверх по инстанциям: «Из оперативных сводок... ясно положение: бригада Махно своим наступлением оттянула на себя корпус Шкуро и теперь разбита, как и 9-я дивизия. Все, что возможно, снимается с Киевского и Одесского направления; но и это дела не поправит, если не разовьется наступление восьмой армии...» (1, т. 4, 57).

К счастью для красных, у белых тогда еще не было сил для развития глубокого наступления. Конный налет Шкуро был лишь пробой сил, разведкой боем, по которой, правда, можно было бы сделать и кое-какие выводы о замыслах белой ставки. Антонов-Овсеенко, который позднее впал в немилость за то, что Деникин проломил его фронт, в своих «Записках о Гражданской войне» все же считал принципиально важным отметить, что не его войска в апреле дали слабину и что если бы их поддержали – не дрогнули бы и в мае: «Факты свидетельствуют, что утверждения о слабости... района Гуляй-Поле, Бердянск – неверны. Наоборот, именно этот угол оказался наиболее жизнеспособным из всего Южного фронта... И это не потому, конечно, что здесь мы были наилучше в военном отношении организованы и обучены, а потому, что войска здесь защищали непосредственно свои очаги... Махно еще держался, когда бежала соседняя 9-я дивизия, а затем и вся 13-я армия...» (1, т. 4, 311).

Фронт стабилизировался, однако отношение большевиков к Махно сразу изменилось. После того как победоносный партизан вышел из боев битым, разом как-то всколыхнулась вся та муть, которая в виде донесений от партийных деятелей и чекистов давно накапливалась вокруг его имени. То вдруг поступали тревожные сведения, что Махно засылал делегатов к Григорьеву договариваться о совместном выступлении против большевиков, то выпирало что-нибудь из области самовольных захватов, и, хотя все знали, что бригада живет на подножном корму и получает жалованье лишь на половину своего состава, опять выходило, что Махно грабитель более грабительский, нежели Дыбенко или Григорьев. Потом, наконец, были же сведения: махновцы упрямо не дают создавать в своем районе комитеты бедноты, и товарищи партийцы жалуются, что никакой возможности работать им в махновском районе нету. То, что большинство товарищей просто праздновали труса, опасаясь сунуться в войска или в деревню, где не было понятливого пролетария, а сплошь был проклятый

единоличник, – в расчет, видимо, не шло. И когда, поопомнившись от разгрома, командиры драпанувших полков девятой дивизии по принципу «вали на соседа» обвинили махновцев в том, что это они развалили фронт, тыловикам почему-то тоже очень верилось (как верится до сих пор некоторым историкам), будто махновцы бежали впереди всех, фронт разлагали, издевались над красноармейцами, срывая с них красные звезды, резали коммунистов за то, что те не позволяли им грабить... По тылу прошла жуть: что же это там, в партизанском краю, творится? Слухи ползли один страшней другого.

Но ведь мы можем дотошливо вгрызться в неудобные свидетельства и ситуацию перевернуть, и тогда выяснится, например, что хлебозаготовки в махновском районе шли довольно успешно, крестьяне добровольно продавали хлеб и ерепенились только там, где заготовкам «помогали» продотряды и чекисты. Тогда же вдруг явится нам мысль и вовсе крамольная—что не товарищам-партийцам тяжело работалось в партизанских рядах, а что попросту не было таких партийцев, которые выразили бы не то что желание, а хотя бы большевистскую готовность в эти ряды внедриться. Большевики насаждали свою власть в тылу – это факт. А вот на фронте...

Степан Дыбец, член бердянского ревкома, рассказал Александру Беку очень важный для нас эпизод о том, как назначенный к Махно начальником штаба Озеров упрасивал его съездить с ним вместе на фронт:

– Тебе, Дыбец, это выгодно. Наживешь политический капитал в войсках. Посмотришь, как наступают, и будешь мне помогать... (5, 53).

Дыбец, как дисциплинированный партиец, справился в уездном комитете партии: стоит ли? Там решили: стоит. «...Надо показать, что большевики не боятся идти в бой, делят судьбу фронтовиков» (5, 53). Показать надо...

Тем не менее Степан Дыбец, появившийся под огнем в красных революционных сапогах, привезенных из Америки, где он эмигрантствовал еще как анархист, снискал себе среди партизан добрую славу: «Дыбец, бывший анархист, а ныне коммунист, пуль не боится, будет драться вместе с нами, привез белье, – значит, наш брат, к нему можно апеллировать, ходить к нему, как к своему коммунисту» (5, 55). Много ли их было, таких «своих»?

Еще красноречивее об отношениях между партийными «верхами» и партизанскими «низами» свидетельствует другой факт: перед наступлением Озеров принес Дыбецу рапорт на имя Дыбенко – просил патронов – и молил тоже подписать: «Дыбенко моему рапорту вряд ли поверит. Ты же теперь – большевик. Добавь от себя несколько слов. Подтверди мою бумагу» (5, 52).

Если не верили, что на войне нужны патроны, то понятно ли, чему верили, дорогой читатель?

Однако у большевиков были и реальные поводы попристальнее приглядеться к Махно: десятого апреля состоялся третий по счету районный съезд махновских вольных советов. Крамола на нем, безусловно, прорвалась в виде неодобрения продразверстки, но в целом съезд был деловой, речь шла о мобилизации на фронт десяти мужских возрастов (годы

рождения с 1889 по 1898-й), и в этом смысле мероприятие могло бы даже рассматриваться как прямое исполнение указаний Антонова-Овсеенко о формировании отрядов на местах перед лицом белой опасности. Но Дыбенко это почему-то взорвало. Он разразился телеграммой: «Всякие съезды, созванные от имени распущенного, согласно моему приказу, Военно-революционного штаба, считаются явно контрреволюционными, и организаторы таковых будут подвергнуты самым репрессивным мерам вплоть до объявления вне закона. Приказываю немедленно принять меры к недопущению подобных явлений. Начдив Дыбенко» (1, т. 4, 108). Получив телеграмму, делегаты съезда, которые претендовали выражать интересы двух миллионов крестьян края, приняли резолюцию протеста. По сути дела, это была первая попытка большевиков наложить лапу на «вольные советы».

Между тем и сам Дыбенко заодно с Махно попал в щекотливое положение, будучи обвинен в незаконном захвате 90 вагонов муки и фуража, предназначенных для рабочих Донбасса. Потянулось следствие. «Дыбенко вышел совершенно чист; вина Махно оказалась не столь уж значительной, ибо было задержано им небольшое количество грузов ввиду совершенно исключительной обстановки», – констатировал Антонов-Овсеенко (1, т. 4, 102). Тем не менее и через две недели, когда на Украину в качестве чрезвычайного уполномоченного Совета обороны прибыл член большевистского ЦК Л. Б. Каменев, тыловые чинуши самого высокого ранга упрямо ему твердили о том, что в продовольственном вопросе за действия Махно и Дыбенко поручиться не могут. Тут же, как это испокон веку делалось на Руси, вновь решено было создать «для обследования действий» каждого из них специальные комиссии, собрав предварительно имеющийся у наркомпрода и наркомвоена обвинительный материал.

Под фронтовиков, обесславивших себя неудачами, определенно велся подкоп. Это с болезненной остротой военного человека почувствовал командующий Второй армией Скачко и имел мужество телеграфировать Антонову-Овсеенко лично:

«Мелкие местные чрезвычайки ведуг усиленную кампанию против махновцев, и в то время, как те проливают кровь на фронте, в тылу их ловят и преследуют за одну только принадлежность к махновским войскам. Глупыми, бестактными выходками мелкие чрезвычайкомы определенно провоцируют махновские войска и население на бунт против советской власти... Так дальше продолжаться не может; работа местных чрезвычайек определенно проваливает фронт и сводит на нет все военные успехи, создавая такую контрреволюцию, какой ни Деникин, ни Краснов никогда создать не могли». Скачко предложил упразднить мелкие ЧК и передать их функции особым отделам при командарме. «В случае отказа я буду вынужден провести эту меру в пределах своей армии собственной властью, и пусть меня тогда вешают, как бунтовщика, ибо я предпочитаю лучше быть повешенным, нежели смотреть, как все завоевания Красной армии сводятся на нет глупостью» (1, т. 4, 102).

Скачко был человек умный и честный, ему недолго оставалось командовать армией, ибо в сферах политики более высокой по каким-то причинам решили существа дела не разбирать, а для отчетности найти виноватого.

На соцзаказ, как всегда, первой откликнулась чуткая партийная пресса. Едва стабилизировался фронт, как в лицо повстанцам со страниц главной газеты советской

Украины – харьковских «Известий» – были выплеснуты слова: «Долой махновщину!»

Махно опять обвинялся в мелкобуржуазности, растленной, как венерическая болезнь, и, соответственно, в разлагающем влиянии на Красную армию и развале фронта.

Помянув махновский съезд, автор передовицы требовал положить конец «безобразиям», творящимся в «царстве Махно», а для этого – слать в район агитаторов, «вагоны литературы», инструкторов по организации советской власти. Готовилась широкомасштабная идеологическая экспансия. К слову сказать, что творится в «царстве Махно» – никто не знал, ибо ни один пропагандист не бывал там. Но, как нередко бывает в таких случаях, это не имело никакого значения.

Одновременно в штабе Южфронта окончательно решили реорганизовать партизанскую бригаду Махно в регулярную советскую дивизию и для этого первым делом сместить Махно с должности командира и заменить его неким товарищем Чикванайя. Как примет это Махно, было неизвестно. Боялись восстания. Сокольников из штаба Южфронта намекал Антонову-Овсеенко: «...В связи со сдачей Мариуполя, поражением-бегством бригады Махно, не сочтете ли подходящим моментом убрать Махно, авторитет которого пошатнулся?» (1, т. 4, 103). Антонов-Овсеенко отмалчивался. Ему докладывали, что бригада Махно опасно разрослась и давно уже превзошла по численности дивизию, что при нем состоят «многочисленные банды» анархистов, и все местные учреждения, вплоть до уездного центра Александровска, переполнены анархистами и левыми эсерами. Но он знал также, что половина передаваемых ужасов – преувеличение, если не ложь, – и что одно неловкое движение может вызвать взрыв и пожар почище тех вспышек, что тут и там возникали на Украине в виде разрозненных крестьянских восстаний.

Антонов-Овсеенко решил лично ехать в войска всех трех знаменитых полководцев начала девятнадцатого года, с каждым лично повидаться и поговорить. Ему нужны были Григорьев, Дыбенко, Махно. Поездка эта полна драматизма и той динамики, которая делает рассказ о ней похожим на киносценарий: вот мизансцена общего плана, вот – среднего, вот – крупного...

У Григорьева командующий фронтом побывал буквально накануне мятежа. Собственно говоря, что-то уже творилось с его дивизией, что-то начиналось: двинутые из-под Одессы на отдых домой части вели себя вызывающе, громили станции и отделы ЧК, зачем-то издевались над станционным персоналом, а то и сцеплялись между собой, но все это, растянутое по лентам железных дорог, еще не имело политического смысла и названия и пока что вписывалось в общий контекст безобразий, сопровождающих продвижение любой армии. Григорьев встретил Антонова-Овсеенко в своей «столице» Александрии с оркестром, почетным караулом, почтительным рапортом. Осмотр войск и войсковых мастерских на комфронте произвел наилучшее впечатление. Съездили в соседнее село Верблюжку, которое выставило на фронт четырехтысячный полк. Загорелые, крепкие солдаты полка, обутые в «подобие обуви», жадно слушали слова про мировую революцию и советскую власть, отзывались мощным «ура». Но когда кто-то из сопровождавших Антонова-Овсеенко произнес слово «коммуна», полк взорвался такой злобой, что насилию удалось унять. Антонов в тот же день телеграфом недвусмысленно предупреждал Раковского: «Население

провоцировано действиями продотрядов. Сначала организуйте местную власть, потом выкачивайте хлеб. Части Григорьева и он возбуждены до крайности... Категорически заявляю вам, как главе правительства: политика, проводимая на местах, создает обиду, возбуждение против центрвласти вовсе не одних кулацких, а именно всех слоев населения» (1, т. 4, 83).

Григорьев не скрывал своего раздражения: «За что воюем?» Антонов-Овсеенко вынужден был убеждать, что виноват не центр, а местный идиотизм, но слова звучали вроде бы не совсем убедительно, и от его внимания не ускользнуло, что Григорьев проговорился о необходимости «миром поладить» с восставшими казаками верхнего Дона, которые к тому времени еще не попали в орбиту влияния Деникина и вместе с примкнувшим к ним 204-м красным полком вели партизанские бои против советских войск независимо от белых. Он принимает решение не бросать дивизию Григорьева в сторону Дона, в помощь Махно, а двинуть ее на запад – на Румынию, Венгрию, подальше от проклятых вопросов внутренней политики – к чести и славе, богатым трофеям и винным погребам, наградам и почестям, причитающимся будущему предводителю восстания мирового пролетариата...

Никифор Григорьев был честолобив, и Антонов-Овсеенко знал это. В последнем разговоре наедине, твердо глядя в глаза атаману, он сказал: «Смотрите, в союзе с Советской властью вы одержали победы мирового смысла, прославили свое имя. Дорожите этим именем. Не поддавайтесь шептунам-предателям. Вы можете новыми великими делами войти в историю».

Григорьев задрожал, но выдержал взгляд командующего фронтом. Потом воскликнул: «Решено! Верьте! Я с вами до конца. Иду на румын. Через неделю буду готов... Только дайте больше работников и обуви...» (1, т. 4, 84).

Работников толковых Григорьеву не прислали, обуви, по-видимому, тоже. Через неделю дивизия полыхнула мятежом на пол-Украины...

Из Александрии путь Антонова-Овсеенко лежал в Симферополь, к Дыбенко. Тут обстановка была поспокойнее: решался вопрос о создании Крымской советской республики со своим правительством, куда Дыбенко – явно невтерпеж ему было – метил наркомвоенмором. Вопрос о подкреплениях Махно решился отрицательно: Дыбенко не дал, напротив, грозился забрать приданные Махно части своей дивизии для добивания последних белогвардейцев под Феодосией...

Из Крыма поезд Антонова-Овсеенко покатиł напрямик в Гуляй-Поле. Ни один из начальников подобного ранга еще не осчастливливал городок своим визитом. Можно с уверенностью сказать, что если бы не мужество Антонова, сунувшегося в самое махновское логово, никто бы так и не побывал у Махно – прежде всего не состоялся бы скоро воспоследовавший визит Каменева, – и мы до сих пор судили бы об обстановке в Гуляй-Поле того времени исключительно по ужасающим слухам, которые вокруг него циркулировали.

Первые впечатления, правда, легли довеском к тому «негативному», которого и так было предостаточно. 28 апреля в Пологах к поезду командующего фронтом приблизилось

несколько человек в сильной взволнованности – это были комиссары, бежавшие от Махно. Говорили, что Махно готовится арестовывать коммунистов и поворачивать штыки против советской власти. Вообще, предчувствие грозящей измены, какого-то грандиозного восстания, близкие приметы которого мерещились всюду, смертной тоскою точили сердца партийцев. Мятеж мерещился всем, мятежа ждали, мятежом сочилась деревня, еще не раздавленная, не выжженная войной, еще полная сил, но уже уставшая от первых большевистских упражнений. Антонов-Овсеенко чувствовал настроения и ситуацию лучше, чем кто бы то ни было. Он знал Украину, он давно, с 1918 года еще, имел дело с партизанами. Махно, Маруся Никифорова, Гарин – эти имена для него, в отличие от киевских, харьковских и московских вождей, имели смысл и значение. За этими именами стояли люди и войска – его войска.

Выслушав комиссаров, Антонов отправил Махно телеграмму, предупреждающую о визите. Аппарат в штабном вагоне вскоре отстучал ответ: «На вашу телеграмму № 775 сообщаю, что знаю вас как честного, независимого революционера. Я уполномочен от имени повстанческо-революционных войск... просить вас приехать к нам, чтобы посмотреть на наш маленький, свободно-революционный Гуляй-Поле – „Петроград“, прибыв на станцию Гуляй-Поле, где будем ждать с лошадьми» (1, т. 4, 109).

В этом ответе умиляют своеобразная чопорность – «от имени...» – и ежистая независимость. Петроград сравнил с Гуляй-Подем – не для того, чтобы противопоставить, а для того, чтобы сопоставить: и здесь, и там в свое время пробил час народной свободы. Мы независимы и свободны так же, как и вы.

29 апреля на станции Гуляй-Поле командукра встретила тройка. В селе выстроенные во фронт войска грянули «Интернационал». Навстречу Антонову вышел «малорослый, моложавый, темноглазый, в папахе набекрень, человек. Отдал честь: комбриг батько-Махно. На фронте держимся успешно. Идет бой за Мариуполь» (1, т. 4, ПО).

Конечно, инспекция Антоновым-Овсеенко бригады Махно была поверхностна – он многого не успел увидеть, почувствовать здесь, как и в дивизии Григорьева, которую покинул, все-таки, с ошибочным впечатлением, что Григорьев «не выдаст», пока будет удовлетворено его честолюбие. Но Махно командующий знал дольше, Махно был понятнее: таких, как он, командиров-анархистов у Антонова немало было в восемнадцатом году...

Обходя строй формирующегося в Гуляй-Поле полка, Антонов-Овсеенко отмечал про себя: одеты кое-как, но вид бодрый. В штабе чувствуется рука спеца – Озерова, посланного к Махно начальником штаба. Выслушав доклад о положении на фронте, где разгромленная бригада вновь контратаковала и пробивалась к Мариуполю, Антонов зафиксировал: Махно обнаруживает как будто «значительную упругость». Выслушал жалобы: ни винтовок, ни патронов. Заговорили об отступлении. Разгорячась, Махно понес на соседей: девятая дивизия панически настроена, ее командный состав – белогвардейцы! (1, т. 4, 111). Антонов-Овсеенко, пользуясь поворотом разговора, возразил, что, по докладам командиров девятой, сами махновцы обнаруживают неустойчивость и антисоветские настроения. Это вызвало недоумение: «повстанцы уважают красную звезду». Побледневший Махно как доказательство предъявил фронтовое донесение: «Бежала соседняя девятая и погиб,



окруженный, не сдаваясь, наш полк у Кутейникова» (1, т. 4, 111). Разговор пошел уже не обиняками:

– Изгоняли политкомиссаров?

– Ничего подобного! Только нам надо бойцов, а не просто болтунов. Никто их не гнал. Сами поутикали... (1, т. 4, 112).

Эти батькины слова сурово подтвердил политкомиссар бригады.

Махно просил оружия. За все время союза с Красной армией бригада, по непонятным причинам, получила от Дыбенко только три тысячи винтовок, причем итальянских, к которым ни русские, ни немецкие патроны, бывшие в ходу на Украине, не подходили. Теперь, за израсходованием патронов, эти винтовки превратились в тяжелое и неудобное холодное оружие. Все остальное вооружение, в том числе и орудия, добыто с бою...

После штабного совещания Махно показал командующему любимое село: три школы, «деткоммуны», госпитали, где на тысячу раненых не было ни одного профессионального, опытного врача. Школами и детсадами, как это ни смешно, заведовала в Гуляй-Поле Маруся Никифорова, прима-анархистка 1918 года, которую Махно отстранил от ведения военных операций. Видел Антонов-Овсеенко и еще кое-кого из приближенных: по-видимому, темной осталась для него лишь деятельность махновской контрразведки да анархического Культпросветотдела (что-то вроде политуправления бригады), но всего успеть увидеть он не мог.

Читателя, вероятно, заинтересует контрразведка, навсегда соединившаяся в исторической памяти с фигурой Левки Задова. Но организовал контрразведку не он, а анархист-набатовец Черняк, появившийся в Гуляй-Поле в январе 1919 года вместе с Белашом, после того как тот приезжал для переговоров с большевиками в Харьков. Черняку мирная пропагандистская работа была не по нутру, его тянуло к романтике прежней суровой и беспощадной жизни подпольщиков-боевиков, и он еще в 1918 году попытался в новых условиях реализовать подходящий ему *modus vivendi*, организовав контрразведку при одном из красногвардейских штабов, в котором – мир тесен – был и знаменитый разгонщик Учредительного собрания матрос Анатолий Железняков. Здесь же встретился ему и юзовский анархист Лева Зиньковский – огромный улыбчивый рыжий детина необыкновенной физической силы, бывший каталь доменного цеха, который, собственно, и был Левкой Задовым. Потом они вновь повстречались уже у Махно, куда Лева привел и своего брата, совсем юного еще, девятнадцатилетнего Даниила, которого ласково звали Данько. Вообще, обоих в батькином войске любили за бесстрашие, настоящую воинскую хитрость, верность и доброту. Лева очень привязался к Махно и весь последний год, когда тот не вылезал из болезней, причиняемых ранами, ходил за ним, как родная мать и, бывало, в буквальном смысле слова носил на руках.

Черняк же у Махно сплотил вокруг себя группу горячих молодых людей, каждый из которых потом в полной мере реализовался как бескомпромиссный романтик террора: Яша Глагзон после разгона штаба Махно пробрался в Москву и стал эксистом у «анархистов подполья»,

которые, борясь с диктатом большевиков, совершили осенью 1919-го знаменитый взрыв Московского комитета партии в Леонтьевском переулке, надеясь убить Ленина, который вроде бы должен был присутствовать на заседании, но не пришел. Хиля Цинципер из контрразведки Черняка у «анархистов подполья» был печатником – следовательно, он на даче в Краскове и набрал листовочку «Правда о махновщине»; дачу потом, когда накрыли организацию, сожгли, но Хилю взяли живым. Один из его подельщиков, Михаил Тямин, сидя на Лубянке, написал пространные показания, где пытался объяснить следствию трагизм положения, при котором революционеры вынуждены разговаривать друг с другом на языке динамита, и, много внимания уделив ужасающему вырождению «делателей революции», умолял чекистов помиловать и освободить Цинципера и еще пять человек, как чистых и искренних борцов за народное дело, уверяя, что эти пятеро еще сделают для революции больше, чем сотни «чистеньких» карьеристов. Просьбе его не вняли: «анархисты подполья» слишком уж многое себе позволили—взрывом было убито 12 человек, 55 пострадало, среди них – Н. И. Бухарин, раненный в руку. «Анархисты подполья» пытались большевистский государственный террор перешибить плетью своего самопального террора, применяя против советских чиновников те же методы, что и против сановников царского режима. Взрыв объявлялся началом третьей революции, за первым ударом были обещаны новые: «С большевиками мы ведем борьбу... пока власть не уничтожит нас или мы не уничтожим власть...»

При такой постановке вопроса «анархистам подполья» нечего было рассчитывать на пощаду. Все подпольщики были, безусловно, романтиками, но это был тот чудовищный, бесплодный, презрительный к человеческой жизни романтизм обреченных – и, более того, зачарованных своею скорой смертью людей, – который других людей, с более здоровыми инстинктами, заставляет от таких держаться подальше, чураясь их, как бесноватых. Декларацию «анархистов подполья» – ответ на политику «красного террора» – читать по-настоящему страшно: это апология тотального разрушения, песнь смерти, написанная людьми, не способными ни к каким компромиссам и готовыми ради человеческого братства и солидарности дойти до крайности разрушения и «пожарищ новой революции».

Левка Задов был не из таких. Он был проще, здоровее. Родился он в семье бедного еврея, имевшего восьмерых детей и две десятины земли. После того как отец, перебравшись в Юзовку, умер, двадцатилетний Лева, в ту пору уже поступивший на металлургический завод, решил, что жизнь несправедлива к нему, и вступил в анархистскую группу. За ряд экспроприации он прямоком попал на каторгу, откуда, как и Махно, был освобожден всеобщей политической амнистией 1917 года. Но, вернувшись домой, он не стал бунтовать, а снова пошел на завод, и, пожалуй, если б не революция, то к прежнему бы делу Задов не вернулся: не было в нем того запалу, что был в Махно, и злости не было – выдумка это Алексея Толстого, такая же выдумка, как и придурочный Махно в картузе на велосипедике.

В 1921 году Лева с братом ушел вслед за Махно в Румынию, но через три года от тоски вернулся и стал служить в одесском ГПУ, где, благодаря своей толковости, продвинулся в должностях и от «сотрудника для поручений» дослужился до высокого чина в разведке. В 1937-м его вместе с братом арестовали, в 1938-м – расстреляли за «шпионаж». В автобиографии, подшитой к следственному делу, Лев Николаевич Задов сообщил о себе еще следующие сведения:

«...В 1917 году по возвращении из каторги поступил снова на завод в доменный цех, где работал до апреля 1918 года, т. е. до прихода немцев на Украину...

В сентябре м-це от рабочих дом. цеха был избран в Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, каковым я состоял до отступления партизанских отрядов из Украины.

В декабре 1917 или в январе 1918 г. вступил добровольно в партизанский отряд, именуемый тогда Красной Гвардией, и участвовал в боях во время налетов донских казаков на Донбасс.

В апреле 1918 г. во время прихода немцев отступил с красногвардейским отрядом под руководством анархиста Черняка. Отступали мы до гор. Царицына.

Под Царицыным наш отряд, как и большинство анархистских отрядов, был разоружен, но в течение 8—10 дней наш отряд был снова вооружен и брошен на фронт в районе станицы Потемкинской – против казачьих банд генерала Краснова...

В августе м-це 1918 года к нам в отряд прибыло распоряжение из Царицына о том, чтобы именоваться Красной Армией, были присланы деньги для выплаты зарплаты, где мне, как начальнику штаба боевого участка, полагалось 750 руб., а красноармейцу рядовому – 50 р. Я, как анархист, с этим положением не согласился и с согласия Черняка выехал в Козлов в штаб Южного фронта. Откуда был направлен на Украину для ведения подпольной работы.

По приезде на Украину я связался с атаманом Махно, у которого я и остался до 1921 года, т. е. до момента ухода в Румынию.

Во время моего пребывания в махновских бандах я занимал следующие командные посты: помкомполка, начальник контрразведки 1-го Дон. корпуса, был комендантом так называемой Крымской группы во время ликвидации Врангеля, членом штаба армии и адъютантом...»[10]

Вообще, Лева Зиньковский прославился именно как человек исключительно военной хитрости, разведчик. К делам контрразведки, которыми занимался сначала Черняк, а потом Голик и Попов, он напрямую причастен не был. В принципе, контрразведка при штабе бригады создана была для раздобывания военной информации, но все время за ней волочился хвост каких-то дел то вроде бы корыстного, то полицейского, поднадзорного свойства. Во всяком случае, слухи, окружавшие этот орган революционной самодеятельности народа, были ничуть не лучше слухов, окружавших обыкновенно ЧК. Член повстанческого штаба Алексей Чубенко, прибыв в занятый махновцами Мариуполь, по собственному признанию, был больно шокирован непрерывными разговорами о махновской контрразведке: «Одни говорили, что их обобрали, другие, что кого-то убили, третьи, что кого-то изнасиловали...» (39, 196). Тут требуется только одна существенная оговорка – свои признания о махновщине Алексей Чубенко, как и Виктор Белаш, делал за столом следователя в ЧК, и впоследствии советская пропаганда еще неимоверно раздула их.

Впрочем, возвращаясь к нашей теме, контрразведкой Антонов-Овсеенко не занимался. Ему нужно было убедиться, что Махно не изменит и фронт выстоит. Визит, в духе командующего, закончился мужским разговором с глазу на глаз. Комфронтом прямо спросил

Махно – не было ли у того переговоров с Григорьевым насчет побунтовать? Махно убежденно отрицал. Антонов-Овсеенко сказал, что в штабе Южфронта есть соображения подчинить бригаду комдиву Чикваная. Махно спокойно воспринял это известие, хотя и понял, что оно означает: ему не доверяют командовать более, чем бригадой. Антонов-Овсеенко прямо посмотрел в глаза комбрига (у Махно был неприятный, очень «тяжелый» взгляд, но из этой дуэли комфронтом вышел победителем). Махно заверил:

– Пока я, Махно, руковожу повстанцами, антисоветских действий не будет, будет беспощадная борьба с буржуйными генералами... (1, т. 4, 113).

Поздно вечером, уехав из Гуляй-Поля, Антонов-Овсеенко телеграфировал в Харьков: «Пробыл у Махно весь день. Махно, его бригада, весь район – большая боевая сила. Никакого заговора нет. Сам Махно не допустил бы. Район вполне можно организовать, прекрасный материал, но нужно оставить за нами, а не за Южфронтом. При надлежащей работе станет несокрушимой крепостью. Карательные меры – безумие. Надо немедленно прекратить начавшуюся газетную травлю махновцев...» (1, т. 4, 113).

По этому же поводу – в редакцию харьковских «Известий»: «Статья полна фактической неправды и носит прямо провокационный характер... Махно и его бригада... заслуживают не руготни официозов, а братской признательности всех революционных рабочих и крестьян...» (там же, 114).

Командующему 2-й Украинской армией Скачко было приказано выделить для бригады деньги, обмундирование, шанцевый инструмент, хоть полштата телефонного имущества, походные кухни, патроны, врачей, перевязочные средства, один бронепоезд на линию Доля—Мариуполь...

Можно с уверенностью сказать: никогда еще Махно не был так заинтересован в союзе с большевиками, как после визита Антонова-Овсеенко. Никогда еще ни с кем из них у него не устанавливалось товарищеских отношений на таком уровне. Он ждал помощи, которая свидетельствовала бы и еще об одном: доверии к нему.

Но ровным счетом ничего, о чем просил Антонов-Овсеенко, не было сделано.

Газетная травля махновцев не прекратилась.

Бригаду оставили в составе Южфронта, хотя одновременно Ленин, обладавший иезуитской хитростью, категорически предписывал ответственность за войска Махно взвалить именно на Антонова-Овсеенко лично, советуя ему быть с партизанами дипломатичным «временно, пока не взят Ростов». Ленин был уверен, что победа близка, но что значит – «временно»? Что замышлялось? Факт: оружия махновцы тоже не получили. С ними вышла совершенно та же история, что спустя двадцать лет повторилась с анархистами в Испании, которых тоже из различных опасений держали на голодном оружейном пайке, пока не выяснилось, что они стоят на направлении главного удара генерала Франко. Главного удара Деникина ждали на Царицын, где окопался Сталин, думая, что белые будут пробиваться на Волгу на соединение с Колчаком, – а он ударил на Махно, рванулся через Украину к Москве, и вот тогда-то морально избиваемый командарм-2 Скачко и проговорился, оправдываясь, что не снабжали

Махно нарочно и, значит, на убой людей тысячами слали нарочно, думая, что сойдет: «...Еще при образовании бригады Махно... были даны ей итальянские винтовки с тем расчетом, чтобы в случае надобности имелась возможность оставить их без патронов...» (1, т. 4, 306).

Ан не сошло! История заставляет платить по всем счетам.

«Лучшие кадры политработников», которых мечтал послать к Махно Антонов-Овсеенко, также остались мечтанием. Пробирались к Махно только анархисты и левые эсеры. Поскольку в России деятельность анархистских групп, претендовавших более чем на клубную работу, была почти повсеместно запрещена, в район Гуляй-Поля потянулись люди, охочие до живого дела. Первыми докатились, естественно, боевики, которые, будучи элементом не нужным в мирной советской жизни, искали случая вновь испытать себя в насилиях и пирах, которыми сопровождается слом старого мира. Это по их части следует записать великолепно написанную И. Тепером сцену в бердянском борделе, когда, наблюдая пьяный дележ проституток, Махно не выдержал и с омерзением начал стрелять и в девок, и в «единомышленников». Но таких анархистов было меньше, чем принято думать, отношение Махно и его штаба к ним было отрицательное, особенно после того, как приехавшая в Гуляй-Поле ивангородская группа попыталась взломать и ограбить бригадную кассу.

Конфедерация «Набат» из Харькова наблюдала за Махно с сочувствием, но открыто своих симпатий не выражала: Махно им казался слишком уж просоветским явлением, и до того, как его выставили вне закона, чувства набатовцев клонились скорее к Григорьеву, который был и резок, и остер на язык. Правда, несколько человек из «Набата» присоединились к штабу повстанцев и работали пропагандистами. Из Петрограда к Махно приехал Михалев-Павленко, – Аршиновым охарактеризованный как необыкновенной души юноша-идеалист. В отличие от большинства анархистов он занимался не пропагандой, а войной, организовал инженерные части бригады и стал поистине любимцем Махно. Его казни большевикам и Ворошилову лично Махно никогда не простил: любовь батьки была слепа, как и ненависть его. В апреле в Гуляй-Поле из Москвы прибыл сам Аршинов, учитель. Письмо Махно побудило его покончить с застоявшейся жизнью столичных политических кружков и связать свою судьбу с восставшим народом.

Аршинова называют злым гением Махно, подразумевая под этим то, что, не будь его, Махно в конце концов подпал бы под влияние большевиков и стал бы нормальным красным комбригом или даже комдивом, заслужил бы ордена, как Котовский, чтобы потом вовремя, до начала чисток и репрессий, умереть от ран или, что еще лучше и героичнее – пасть на поле брани, замешав свою кровь в раствор, цементирующий фундамент партийной диктатуры...

Все это очень сомнительно. Во-первых, Махно сам был убежденный, идейный анархист, сторонник «вольных советов», и никакого влияния большевизма он, надо прямо признать, не испытывал, а то, что он чувствовал личное уважение к Антонову-Овсеенко, – целиком человеческая заслуга последнего. Во-вторых, судьба Махно была predetermined не им и не Аршиновым, а большевиками: оказавшись «не той» политической фигурой на направлении главного удара Деникина, отворотить который его войска в силу уже известных

нам причин не могли, он обречен был стать козлом отпущения.

Допуская в историю сослагательное наклонение, мы вынуждены будем сделать слишком много оговорок, чтобы вывести столь неудобную фигуру, как Махно, на благополучный путь красного командира: он мог бы стать им, лишь оказавшись участником победоносного похода, при условии политической терпимости союзников и благоразумной (хотя бы в рамках нэпа) внутренней политики властей у себя в тылу. Поскольку все эти допущения, как нам известно, не реализовались, путь Махно иным быть не мог. Однако, прежде чем его звезда красного комбрига закатилась окончательно, ей суждено было блеснуть светом обманчивой надежды еще один раз. В начале мая в Гуляй-Поле приехал Каменев.

Лев Борисович Каменев прибыл на Украину еще в конце апреля в качестве верховного экспедитора по продовольствию, которому поручено было разобраться: почему так трудно, скупно и спазматически-порционно поступает в центр хлеб из богатых пшеничных губерний Поволжья и Украины, откуда должен бы течь рекой? Из Поволжья экспедиция вырвала около трех миллионов пудов продовольствия, в основном за счет проталкивания застрявших по железным дорогам грузов и водворения порядка в погрузочной бестолочи. Каменеву, как и большинству большевиков, находящемуся под обаянием идеи о совершенном государстве, где все будет производиться и потребляться сознательно и по плану, до слез обидно, что хлебозаготовки правительства нейдут как надо. О «бессознательном» в экономике – используя терминологию Фрейда, – о тайных приводах экономической жизни он не то чтобы не догадывается, он вытесняет саму мысль об этом, объясняя неудачи саботажем, а не тем, что, разгромив рынок, партия отдала продовольственное дело в лапы двух кафкианских монстров – Наркомпрода и Наркомата путей сообщения. Характерна телеграмма Ленину: «...Во всем деле перевозок отсутствие даже мысли об общем плане единого хозяина. Никакой согласованности между отправителем груза, губпродкомом и хозяином железной дороги не существует. Каша, бестолочь, безответственность...» (89, 119).

Прибыв из Поволжья на Украину, Каменев и здесь пытается поправить дело исключительно увязкой действий центральных, местных и армейских заготовительных органов. Ему кажется возможным поручить все заготовки Наркомпроду, который потом сам раздаст и Москве, и армии, и местному населению сколько нужно. О том, что это типичная бюрократическая утопия, мысли нет. О том, что во время войны из этого может вырасти все, вплоть до бунта, – тоже. Поэтому действия махновцев, оцепивших своей охраной эшелон с хлебом, уже оцепленный охраной Наркомпрода, кажутся ему исключительно преступными и вызывают раздражение:

– Тогда эта самая Советская власть к чорту годится, если Махно ей не подчинится... Нет, нужно играть начистоту, это все пустяки, они подчинятся... (89, 132).

Постепенно, однако, до Каменева доходило, что все не так просто. Глупо, глупо ведь, проводя в деревне строгую классовую линию, раздавать драгоценную, предназначенную в обмен на хлеб мануфактуру бедноте: что беднота даст? Глупо выколачивать хлеб из крестьян более зажиточных прикладами продотрядов – озлобятся. На совещании в Мелитополе он своим именем благословляет продработников на смягчение линии: «Чорт с ним, с богатым, пусть получает товар, нам нужен хлеб во что бы то ни стало» (89, 129).

Хлебозаготовительная деятельность Каменева прервалась началом деникинского наступления; белые взяли Луганск; Ленин назначил Каменева уполномоченным Совета обороны и просил находиться в районе боевых действий в Донбассе. Тут-то, по-видимому, ему и явилась мысль вслед за Антоновым-Овсеенко проинспектировать тот самый «слабый» участок фронта, о котором было столько разговоров, – район бригады Махно.

Безымянный летописец экспедиции большевистского вождя оставил нам интересное описание этой поездки – тем еще любопытное, что в нем сквозит неподдельное удивление увиденным городского человека, далекого от жизни революционных низов.

Рано утром 7 мая поезд экспедиции, с крепким отрядом и основательно вооруженный пулеметами, прибыл на станцию Гуляй-Поле. Махно должен был приехать сюда же с фронта, из Мариуполя. Каменева сопровождали Клим Ворошилов, звезда которого начала восходить после знакомства со Сталиным в Царицыне, и Матвей Муранов, прикомандированный к Каменеву работник ЦК. Их встречали на платформе Маруся Никифорова, Михалев-Павленко, Борис Веретельников и еще кто-то из штаба. Встречающие не без иронии разглядывали поезд особого уполномоченного, оцетинившийся пулеметами (вообще, фронтовиков раздражали вооруженные эскорты большевистских бонз, они горько посмеивались: «как к бандитам к нам ездят»). В ожидании Махно завязался разговор. Каменев назвал махновцев героями, но попрекнул тем, что они задерживают хлеб, предназначенный голодающим рабочим. Воспоследовавший разговор заслуживает того, чтобы быть переданным со стенографической точностью:

«Махновец. – Хлеб этот реквизируется чрезвычайками у голодающих крестьян, которых расстреливают направо и налево.

Муранов. – Направо и налево нехорошо, но, я думаю, вы не толстовцы.

Веретельников. – Мы за народ. За рабочих и крестьян. И не меньше за крестьян, чем за рабочих.

Каменев. – Разрешите мне сказать, что мы тоже за рабочих и крестьян. Мы также за революционный порядок... Мы, например, против погромов, против убийств мирных жителей...

Махновец. – Где это было? На наших повстанцев клеветают все, между тем лучшие наши товарищи, такие начальники, как дедушка Макс юта...

Ворошилов. – Ну, уж этого я знаю.

Махновец. – Дедушка Макс юта – крупнейший революционер, он арестован» (89, 135).

Известный анархист, «дедушка» Макс юта, буквально через несколько дней был убит начдивом Пархоменко, когда во время боев красных с восставшими григорьевцами за Екатеринослав он, с горсткой уголовников вырвавшись из тюрьмы, сам умудрился захватить город. Но до последнего подвига «крупнейшего революционера» еще положен был Богом срок. Пока что ждали Махно.

Внезапно показался локомотив с одним вагоном. Начальник станции ожил. «Батяка едет», – предупредил он. Вышел Махно. «Острые ясные глаза. Взгляд вдаль. На собеседника редко глядит. Слушает, глядя вниз, слегка наклоняя голову к груди, с выражением, будто сейчас бросит всех и уйдет. Одет в бурку, папаху, при сабле и револьвере. Его начштаба – типичный запорожец; физиономия, одеяние, шрамы, вооружение – картина украинского XVII века» (89, 136).

Мотив того же изумления сквозит и в описании почетного караула повстанцев: «Один стоит в строю босой, в рваных штанах, офицерской гимнастерке и австрийской фуражке; другой – в великолепных сапогах, замазанных донельзя богатых шароварах, рваной рубаше и офицерской папаше... Вокруг войска теснится толпа крестьян. Издали наблюдают несколько евреев. Настоящая Сечь» (86, 136–137).

Собрался большой митинг. Махно воодушевленно говорил о единстве революционного фронта: «большевики нам помогут». Каменев держался в том же ключе: «Вместе с Красной армией пойдут славные повстанцы товарища Махно против врага трудящихся и будут драться в ее рядах до полного торжества дела рабочих и крестьян» (89, 137).

Но в целом увиденное – чужое и непривычное – насторожило его. За обедом, который состоялся на квартире Махно («обстановка в роде квартиры земского врача»), он упрямо расспрашивал Махно об антисемитизме. Махно рассказал, как застрелил начальника станции за вывешенный антисемитский лозунг. Это Каменев не убедило. Не убедило его и то, что на террасе соседнего дома, поглядывая на важных гостей, сидела за чаем еврейская семья. Не убедило и то, что среди анархистов в «культпросветотделе» было немало евреев: ночью, уехав от Махно, он в поезде составил «открытое письмо» ему, где прежде всего указал на антисемитизм...

Вообще, несмотря на совещания в штабе, на гостеприимный обед, распоряжалась которым новая жена Махно Галина Андреевна – будущая грозная «матушка Галина», – несмотря на разговор в узком кругу приближенных, во время которого Махно вновь и вновь соглашался быть «просто комбригом» с комиссаром при штабе, несмотря на проводы, фотографирование на память и открыточку, которую Махно Каменеву надписал крупным почерком непривычного к письму человека, начертав на обороте – «Тов. Каменеву. На память в посещении Гуляй-Поля. Батяка Махно», – Каменев, кажется, так и не уверовал в «благонадежность» Махно.

Не таким, не таким виделся Льву Борисовичу Розенфельду революционный народ. Послушным и благодарным он виделся ему. А тут было своеволие. Были выкрики: «Хотите крестьян разорить, а потом любить?» (89, 138). Были нападки на ЧК. Был гуляйпольский совет, в котором заседали какие-то несоветские, явно недостаточно угнетенные мужики в «прекрасных сапогах и жилетках при цепочке», были, наконец, эти дерзкие, никакого не имеющие почтения анархисты при штабе, сам этот штаб и Военно-революционный совет, претендовавший на власть в районе от имени каких-то самозванных съездов... Каменев советовал ВРС распустить, но понял, что не распустят. Да и то: разве сами большевики не точно так же брали власть в семнадцатом году, созывая свои съезды в пику тогдашней власти?



Каменев решил быть с Махно дипломатичным – он чувствовал себя и сильнее, и хитрее, – но в целом выводы его, в отличие от выводов Антонова-Овсеенко, были неутешительны. Летописец экспедиции формулировал: «Становилось все яснее, что махновцы должны быть вытеснены (кем и куда? – В. Г.) из Донбасского района и что без серьезной чистки среди них не обойтись...» (89, 138).

Махно же уверовал в дипломатию вождя. Теперь он не сомневался: ему помогут.



Версия #1

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 2 апреля 2025 11:14:36

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 2 апреля 2025 11:14:53